

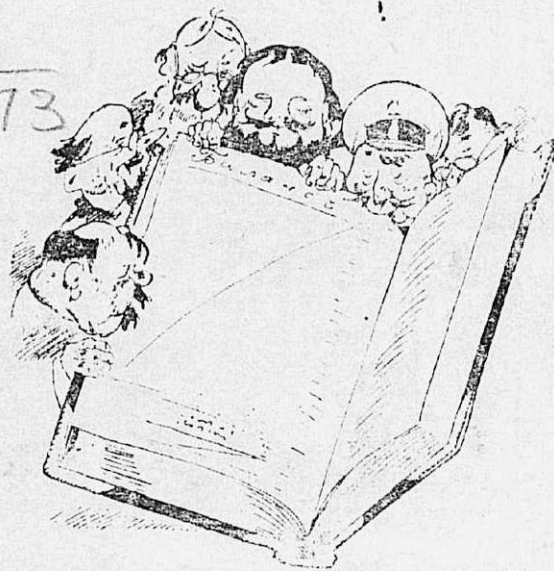
А. П. ЧЕХОВ

ДЕЛО СКОПИНСКОГО  
БАНКА

НОВОНАЙДЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

М 0  
173

25836.



...

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

№ 150

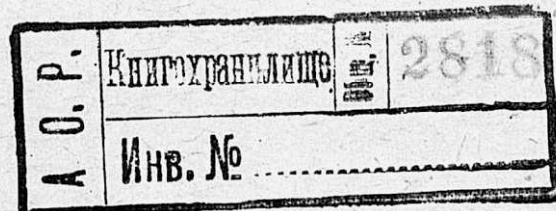
АКЦ. ИЗДАТ. О-ВО „ОГОНЕК“  
МОСКВА — 1926

А. П. ЧЕХОВ

809-17  
2535

# ДЕЛО СКОПИНСКОГО БАНКА

НОВОНАЙДЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ



Акц. Издат. О-во „ОГОНЕК“  
Москва—1926



13441  
Отпечатано  
в Тип.-Лит. Акц. Изд. О-ве  
„ОГОНЕК“. Москва.  
Сретенка, Последний п., 26.  
Тираж 13.000 экз.  
Главлит № 63289.



2007466707

## ОТ РЕДАКЦИИ.

4 ноября 1884 г. Антон Павлович Чехов писал Н. А. Лейкину, редактору „Осколков“, покровительствовавшему ему: „22-го разбирается дело Рыкова. Буду в окружном Суде, ибо имею билет. Не нужно ли для „Петербургской Газеты“ фельетонов о Рыкове? Если нужно, то порекомендуйте. Возьму дешево, по 50 руб. за фельетон. Дело будет тянуться 12 дней. Без эффектов не обойдется. А много можно написать!...“ В этом же письме мы находим следующий постскрипtum А. П.: „Не дадите ли вы место в осколочных фельетонах скопинскому делу? Если да, то предупредите. Дело большое! На всех хватит“.

Н. С. Худеков, редактор „Петербургской Газеты“, согласился на предложение Чехова, и через пару дней А. П. получил письмо из Петербурга от Лейкина, в котором последний сообщил ему условия „Петербургской Газеты“.

„На условия „Петербургской Газеты“ согласен. Буду писать по Рыковскому делу, и накануне процесса пришлю первый рассказ“, — отвечает Чехов Лейкину 2-го ноября того же года.

Таким образом появилась интереснейшая работа А. П. Чехова, недавно разысканная, затерявшаяся свыше чем на 40 лет в пыльной „Петербургской Газете“ и впервые нами перепечатываемая.

Этот ответ Чехова вскрывает нам особенность его „репортерства“, даже эту работу он себе мыслил, как творческую — педаром он называет свои писанья по Рыковскому делу „рассказами“. На этой почве между ним и Лейкиным произошло небольшое недоразумение, во-первых, потому, что последний испугался слова „рассказ“, думая, что от этого пострадает правдоподобность сведений, сообщаемых А. П. Он не мог понять „страшной прыти“ Чехова, который обещал прислать рассказ „за день до суда“. В следующем письме к Лейкину — от 16 ноября — мы находим следующие оправдательные строки:

„Изумляюсь, как это я не понял вас относительно Худекова. Вы писали, что ему не нужно фельетонов, а нужны краткие сведения из суда строк в сто... Мне почему-то вообразилось, что под сведениями надлежит понимать рассказы... (Если эти сведения не фельетон,—то что же?) Спасибо, что написали и наставили на путь истинный... Вы удивляетесь моей странной прыти: как это, мол, можно написать рассказ за день до суда. Рассказ—не пожарная команда: и за полчаса до пожара может быть состряпан. Но дело не в этом, а в том, что в первой моей посылке я хотел изобразить нововведения в Окружном Суде, состряпанные ради Рыкова, и которые я еду осматривать в понедельник... Они достойны описания, а не описывать же их в самый день суда, когда будет и так много материала“. В конце этого же письма Чехов пишет: „Так как Рыковское дело будет, как говорят, тянуться две-три недели, не прийдет ли мне г. Худеков на всякий случай какого-либо вида от „Петербургской Газеты“,—карточку, что ли?“

И начиная с 24 ноября 1884 г. Чеховские „рассказы“ о скопинском деле печатались ежедневно в „Петербургской Газете“ вплоть до 10 декабря. Таким образом, всех „рассказов“—16, но неравных по размеру: от 70 до 200 газетных строк.

Непривычная роль судебного хроникера оказалась для Чехова тяжелой: „Дело непривычное и сверх ожидания тяжелое. Сидишь целый день в суде, а потом как угорелый пишешь... не привык я к такому оглашенному письму“, пишет он на третий день судебного процесса—26 ноября—Лейкину.

Но вскоре Чехов освоился с новой средой, привык к работе судебного хроникера и уже находил, что, „в суде в общем весело“, что отчеты его „выходят лучше и короче первых“, и что „дело я понимаю и тем много“.

Между прочим, материалом для прекрасного чеховского рассказа „Беда“ послужил повидимому этот же процесс скопинского банка.

Судебные фельетоны А. П. Чехов подписывал псевдонимом „Рувер“.

## ДЕЛО СКОПИНСКОГО БАНКА

Двенадцатый час...

Публика молчаливо ждет, но ожидание это не томительно, потому что все внимание сосредоточено на прелестях заново отремонтированной Екатерининской залы. В отношении пространства, света, воздуха и шика эта зала не оставляет желать ничего лучшего.

На прокурорском месте уже сидит прокурор судебной палаты Н. В. Муравьев. Позади судейского стола, покрытого темно-зеленым бархатом, жужжат газетчики. Тут все: кругосветный Молчанов, редактор „Новостей Дня“ Липскеров со своим „собственным“ Левенбергом, Курепин с раздвоенной бородкой, Моциевский et tutti quanti, имена их ты, господи, веши...

Газетчикам ужасно холодно. Столы их расположены между холодными колоннами, как раз перед окнами, откуда несет холодом, как из погреба. Слышны остроты насчет холодных, не столь отдаленных мест и жалобы на нелюбезность... зимы, заставившей мерзнуть ни в чем неповинных людей. Газетчики синеют... Немудрено, если к завтраму половина из них заболит ревматизмом и крапивной лихорадкой.



Ниже судейского стола—площадка с длинным столом для защиты, стол для вещественных доказательств и подкова для свидетелей. Тут вы видите людей, речи которых будут переводиться через тысячи лет, как мы переводим теперь Демосфенов и Цицеронов. Ораторы эти суть следующие: Одарченко, Шубинский, Курилов, Высоцкий, Скрипицын, Швенцеров, Гаркави, Фогелер, Генкин, Попов, Бернард и Холщевников. Половина биноклей обращена на них. Гражданский истец Ф. Н. Плевако сидит отдельно, за особым пюпитром, и сурово поглядывает на публику...

На столе вещественных доказательств целая „скопинская библиотека“. Если во всем Скопине наберется столько же книг, сколько на этом столе, то за скопинцев можно порадоваться: цивилизация их в шляпе.

Публики, сверх ожидания, мало. Выдано 500 билетов, а между тем занято не более 300 мест... Дам в пять раз больше мужчин. Бухгалтерии дамы не знают и дела, конечно, не поймут, но они пришли не понимать, а созерцать... Их бинокли бегают по лицам, как испуганные мыши...

— Суд!—слышится возглас судебного пристава.

Адвокаты, секретари и корреспонденты торопливо занимают свои места... Публика поднимается...

Дверь снова отворяется, и в залу входят двадцать человек, которые после минутной толкотни и замешательства занимают места за белой решеткой. Ни одной интеллигентной физиономий. Все больше „суздальское письмо“... Самому старшему из них 72 года, самому младшему — 29. Один из них, Барабанов, слеп, что впрочем не мешало ему быть во дни Рыкова членом ревизионной комиссии (То-то, небось, рад был, что не видел!).

— Подсудимые, кто из вас Иван Гаврилов Рыков?

Из-за решетки поднимается толстый, приземистый мужчина с короткой шеей и огромной лысиной. Ему 55 лет, но тюрьма дала его лицу и волосам лишних лет 5—10: на вид он старше. Большое, упитанное тело его облечено в просторную арестантскую куртку и широкие, безобразные панталоны. Он бледен и смущен, до того смущен, что прежде чем ответить на вопрос председателя, делает несколько прерывистых вдохов. Его маленькие, почти китайские глаза, утонувшие в морщинах, пугливо бегают по зеленому сукну судейского стола.

Этот „Иван Гаврилов“, одетый в грубое сукно, возбуждающий на первых порах одно только сожаление, вкусил когда-то сладость миллионного наследства. Разбросав широкой ручищей этот миллион, он нажил новый... Ел раки-борделез, пил настоящее бургонское, ездил в каретах. Одевался по последней моде, глядел властно, ни перед кем не ломал шапки.

Трудно теперь землякам узнать этого эпикурейца-франка в его новом костюме.

После обычного предисловия Рыков заявляет, что он, кроме г. Одарченко, желает еще другого защитника, а именно г. Беляева. На что ему понадобился г. Беляев, письмоводитель совета присяжных поверенных, сказать трудно. Под стражей, кроме Рыкова, находятся: товарищи директора Руднев и Иконников, бухгалтер Матвеев, письмоводитель Евтихеев и Попов. По опросе подсудимых следует длинное и скучное перечисление неявившихся свидетелей. Всех свидетелей 107, не явилось 48.

Присяжные в сплошную состоят из купцов, мещан и цеховых. По приведении их к присяге делается перерыв до

6-ти часов, а после перерыва начинается монотонное чтение длиннейшего в мире обвинительного акта.

Акт этот изображает из себя толстую книгу, содержащую 9.000 газетных строк. Цифр в нем больше, чем букв.

\* \* \*

Второй день.

По прочтении обвинительного акта, замучившего двух крепкогрудых секретарей, подсудимым предлагается общий вопрос о виновности...

— Признаю себя виновным только по отношению к некоторым пунктам,—отвечает Рыков,—в остальном же прочем не виновен.

Его *collega* № 1, сосед по скамье, „товарищ директора“ Руднев, высокий, плечистый плебей с бледной, ничего невыражающей физиономией, виновным себя не признает.

— Не признаю-с!

Прочие подсудимые дают тот же ответ. И видно, что этот ответ давно уже приготовлен, заучен, но не обдуман... Говорится он на авось и на отмашь...

— Вы, подсудимый, подписывались бухгалтером банка, хотя им никогда и не были... и все-таки не признаете себя виновным?

— Подписывался, но не признаю-с...

По приведении к присяге пестрой толпы свидетелей, суд находит нужным прочесть несколько документов. Содержание их приблизительно следующее:

Скопинский банк произошел из ничего. В 1857 г. собрались скопинцы и порешили иметь свой собственный банк. Получив разрешение, они внесли все свои наличные в раз-

мере 10.103 р. 86 к. и назвали их „основным капиталом“. Цыпленок разрастается в большого, горластого петуха, но никто не мог думать, что из этой грошевой суммы вырастут со временем миллионы! Цели банка предполагались розовые! Треть доходов в пользу родного Скопина, треть на дела благотворения и треть на приращение к основному капиталу. Задавшись такими целями и положив в кассу основной капитал, скопинцы занялись операциями.

На первых же порах начинается жульничество. Видя, что вкладчики и векселедатели не идут, банковцы пускаются на американские штуки. Они дают проценты, которые и не снились нашим мудрецам: от 6 до 7 с половиною процентов. За сим следует шестизатяжная реклама, обошедшая все газеты и журналы, начиная со столичных и кончая иркутскими. Особенно тщательно облюбовываются духовные органы. Реклама делает свое дело. Сумма вкладов вырастает до 11.618.079 рублей!

С этими вкладами производятся фокусы... Сеансы многочисленны и продолжительны. Самый красивый фокус проделывает подсудимый Илья Краснопевцев... Этот скопинский нищий, не имеющий за душой ни гроша, подает вдруг в банк об'явление о вносе им вкладов на 2.516.378 р. и через два—три дня получает из банка эту сумму чистыми деньгами... Второй фокус попроще: Рыков берет из кассы 6.000.000 и вместо них кладет векселя. Ему подражают прочие банковые администраторы, его добрые знакомые и те, про коих сказано „*nomina sunt odiosa*“, и скоро касса начинает трещать от просроченных, непротестуемых векселей... В конце концов, следовательно нахватав в кассе только 4.000! А вот показание свидетеля, председателя конкурсного правления г. Родзевича:



„Сумма неоплаченных векселей простирается до 11.000.000. Взыскано же пока на удовлетворение этого громадного долга только лишь 800.000, да и то с большими трудностями. Кредиторы банка получают по 15—18 коп. за рубль, если же на удовлетворение долга пойдет и „многомиллионное“, рекламой воспетое имущество города Скопина, то за рубль будет получено немногим больше—28 коп. Авторы векселей большей частью имущества не имеют. Илья Заикин, имеющий имущества только на 330 руб., кредитовался на 118.000. Рыков, должный 6.000.000, не имеет ничего. Попов, бывший откупщик и эпикуреец, должен 563.000, а имеет один только паршивенький домишко где-то у чорта на куличках, в Архангельске. Глядишь на этих сереньких, полуграмотных мужланов, невинно моргающих глазками, и не веришь ни цифрам, ни прыти. Откуда эти „темные“ люди набрались ума-разума, америкалской сметки и юханцевской храбрости?

Число вкладчиков равно шести тысячам. Большинство из них принадлежат к среднему слою общества: духовенство, чиновники, военные, учителя.. Средняя цифра взносов колеблется между 2.000—6.000, из чего явствует, что на удочку попадались люди большей частью малоимущие“...

За показанием Родзевича следует пародирование гоголевского Шпекина, исполненное бывшим скопинским почтмейстером Перовым. Он в продолжении 16 лет ежемесячно получал от Рыкова 50 руб. На вопрос, чем ему был обязан Скопинский банк, Шпекин невинно пожимает плечами и отвечает незнанием.

— Деньги я, правда, брал,—выжимается из него ответ,—но не спрашивал, за что мне их давали... Давали, ну и брал. Вроде как бы жалованье...

Вообще, надо заметить, герои текущего процесса питают какую то страсть к уклончивым ответам, да и эти приходится выжимать из них с великими трудностями.

— Да, ведь, у вас же была голова на плечах,—обратился председатель к товарищу директора Рудневу,—должны были понимать.

— Голова то была на плечах, это конечно-с, но... мы люди темные... неграмотные...

\* \* \*

Вечер второго дня.

Чтобы покончить с операциями приема вкладов, суд допрашивает иеромонаха Никодима, приехавшего в „мир“ из дебрей Саровской пустыни Пошехонского уезда. Отец пошехонец дряхл, сед и расслаблен, как лесковский о. Памва. Вооружен он здоровеннейшей клюкой, вырезанной им по дороге издрев девственных пошехонских лесов. Говорит тихо и протяжно.

— Почему вы, батюшка, положили ваши деньги именно в Скопинский банк, а не в другое место?

— Наказание Божие,—объясняет обегоренный старец.—Да и прелесть была... навождение... В других местах дают по три—по пяти процентов, а тут семь с половиною. Оххх... грехи наши!

— Можете идти, батюшка! Вы свободны.

— То-есть как-с?

— Идите домой! Вы уже более не нужны!

— Вот те на! А как же деньги!

Sancta simplicitas воображала, что ее звали в суд за получением денег! Какое разочарование!

Покончив с обрисовкой злоупотреблений по операциям приема вкладов, суд приступает к учету векселей — самой обширной и забористой части следствия...

Скопинские американцы, учитывая векселя, строго и упрямо придерживались таких правил: а) требуемый законом список лиц с примерным показанием размеров открытого каждому из них кредита составляет ненужный предмет роскоши; б) прием векселей к учету производится не по постановлению правления, а по желанию и резолюции Рыкова или его домочадцев; в) деньги по принимаемым векселям выдаются не бланконадписателям, а векселедателям, что хотя и противоречит сущности учета, но зато удобно и оригинально; г) при наступлении сроков векселя не оплачиваются, а заменяются новыми, при чем проценты не платятся, а приписываются к капитальному долгу; д) протестованные векселя также заменяются новыми.

Что эти мудрые правила исполнялись без упущений и настойчиво, удостоверяется прежде всего свидетелем Никитой Гиляровым, редактором нашей юривой „Современки“.

— Однажды, познакомившись со мной по поводу составления телеграммы о каком то его пожертвовании, Рыков в знак благодарности полез в карман за папиросами, но, не найдя таковых, предложил мне вместо папиросы кредит в своем банке с маленьким процентом и необязательным возвратом капитала... Предложением я воспользовался.

Купец Иван Афонасов своим показанием не только свидетельствует неукоснительное применение вышеписанных правил, но и дает фабулу для романа... Он рассказывает, что после смерти отца своего, он заявил у местного мирового судьи об отречении от наследства, так как долг отца

Скопинскому банку превышал стоимость отцовского наследства. Узнав об этом, Рыков и письмоводитель Евстихьев стали грозить Афонасову, что если он не возьмет обратно своего отречения, то они „упекут“ его за сокрытие имущества отца. Свидетель согласился, взял на себя векселя отца... векселя были, согласно правилам, протестованы и заменены новыми и... свидетель женился на дочери Рыкова...

Весь третий день занят все тем же учетом. Все свидетели толкуют о той диковинной легкости, с которой Рыков выдавал каждому встречному-поперечному чужие финансы. Простые лавочники, продающие овес и уголь, брали сотни тысяч! Векселя менялись на новые, проценты приписывались к капитальному долгу, бланки давались даже кучерам и лакеям. Для того, чтобы поручиться за Ивана, не было надобности быть знакомым с этим Иваном, и кто затруднялся найти поручителя, тому выбирал такового сам Рыков из своей домашней прислуги.

Счеты подсудимых, которые почти все должны банку, различаются только по цифрам, по „духу же“ они родные братья. Заем не по чину, бесшабашная трата и мена векселей с бесконечною припискою процентов... В своем долге подсудимые-чуйки видят вину и считают нужным оправдаться.

— Долг не вина! — объясняет председатель. — Виноват не тот, кто берет, а тот, кто даст! Вы не за долг попали под суд.

Но подсудимые не понимают... Владимир Овчинников, судящийся за преступления по должности городского головы, встает и дрожащим голосом рассказывает историю



своего долга... В этой истории есть и смерть отца, и отцовские долги, и семья на шее, и постройка железной дороги, и упущение в торговле... Она длинна, но почти в самом начале прерывается тяжелыми рыданиями и питьем воды... Рыдания не прекращаются, и изложение истории отлагается до следующего раза... Впечатление тяжелое...

Находящийся под стражей коммерции советник Попов, бывший откупщик и владелец известного Кокоревского подворья, свой пятисоттысячный долг хочет объяснить не в пример прочим. Рыков был должен ему 500.000, и он взял эти деньги из банка за поручительством Рыкова... Попов заговорил сегодня впервые. Это в высшей степени интересная личность, по крайней мере, для москвичей... Его физиономия и блестящее прошлое плохо вяжутся с теперешним арестантским халатом... Лицо энергическое, умное и интеллигентное, борода Черномора, глаза, окаймленные черными густыми бровями, глубокие, хитрые... О своем долге говорит он, как о пустяке... В прошлом привык он считать миллионы... стоит ли говорить о таких пустяках, как скопленные деньги. Дает он впечатление человека подвижного, делового до конца дней своих и под конец страшно, невылазно запутавшегося...

Г. Одарченко, поднимающийся после каждого показания и счета, старается доказать (он говорит по-хохлацки), что Рыков давал деньги своим клиентам, „желая добра“, и что клиенты влопались только потому, что не были достаточно проникнуты добрыми рыковскими побуждениями... Г. Муравьев доказывает, что Рыков деньги „навязывал“...

Защитники то и дело вскакивают и делают заявления...

— Прошу, г. присяжные, из прочитанного показания

сохранить в своей памяти, что мой клиент в 1874 г. был должен по трем векселям 11.372 р. 44½ к., затем же в ноябре 1879 г. он... и проч...

И таких заявлений, рекомендуемых памяти присяжных, сотни! Один г. Шубинский надавал их чортову тьму!

Председатель г. Терновский то и дело осаживает защитников.

— Я хочу сделать заявление... просит защитник.

— Оно неуместно...

— Стало быть, отказываете?

— Отказываю! — отчеканивает резким голосом г. Терновский.

Защитники волнуются... Очевидно, г. Терновский порешил „не баловать“ защиту... Без просьб „занести в протокол“ и, пожалуй, даже без поводов к кассации не обойтись... Но об этом после...

\* \* \*

Четвертый день. Вопрос о злоупотреблениях по учету векселей не исчерпан. Остается еще допросить на этот счет самих обвиняемых.

Не отрицая своих вексельных дебошей, Рыков все-таки себя виновным не признает. Причина всех причин, по его мнению, сидит в среде заедающей, в положении „одного не война“ и в фортуны, поворачивающейся к человеку, как известно, то задом, то передом. Говорил он складно, странно, подчеркивая каждое слово. В его дрожащем голосе слышится энергия, нервная решимость... — Уже, погодите, я все выскажу! — читается на его оплывшем лице.

— Нет, уж вы меня не останавливайте, ваше п-во!—говорит он то и дело осаживающему его председателю. — Нет, уж вы позвольте мне говорить!

— Дела банка стали плохи... Но не в силах я был поднять руку на то, что сам создал, на свое детище... Я не в силах был ликвидировать дела, а продолжать держаться на прежней высоте банк мог только злоупотреблениями.

Из пятимиллионного долга Рыков считает на своей совести только полтора миллиона, все же остальное является фикцией: погашение своими векселями чужих долгов и проч.

— Да и эти полтора миллиона я употребил не на себя... Зная, какой страшный непоправимый вред приносит России лесостроительство, я занялся добыванием каменного угля.

Появилось на свет божий „общество каменноугольной промышленности московского бассейна“, которое, благодаря плохости и угля и гг. инженеров, в скорости приказало долго жить.

Товарищи директора дают очень недлинное объяснение:

— Нам давали подписывать, ну мы и подписывали... Иван Гаврилыч приказывал... Думали, что так надо...

Бывший городской голова Владимир Овчинников, самый галантный из подсудимых, на вопрос, почему он не прекратил бесчинств в то время, когда знал о них и должен был прекратить их, ex officio говорит трагически, рыдающим голосом и заливая каждую фразу водой.

— Я знал, что в банке пеладно... Я понимал, сознавал, что, как гражданин, я обязан был донести. Но я не герой. В Скопине я живу, имею родственников, связи, все мне дорогое и близкое... Если бы я донес, скопинцы прокляли бы меня... и это было бы моей гибелью...

Вопрос же, почему этот Овчинников, сделавшись городским головою, становится должным банку в пять раз больше, чем ранее, остается неразрешенным, так как подсудимый просит отложить решение этого вопроса до другого раза.

Подсудимый Иван Руднев, изображающий из себя невинного барашка, подписывавшего и „метившего“ бланки по неведению и простоте, ставши товарищем директора, задолжал 213.000 руб., ранее же был должен только 40.000. Совершить такую метаморфозу простота и неграмотность ему не помешали.

Тайны скопинского атамана мог знать только один его стреманный, бухгалтер Матвеев. За службу и секрет Матвеев получал не в пример прочим. При готовой квартире и отоплении его рижское мещанство получало 3.600 р. в год. Кроме того, его папаше выдавалась ежемесячно двадцатипятирублевая пенсия. Ему позволялось увольнять и определять служащих, увеличивать и уменьшать содержание... Он был единственным служащим, которому Рыков подавал руку и которому иногда даже делал визиты. Награда великая, если принять во внимание, что даже вкладчики, первые благодетели Рыкова, не знали другой чести, кроме двух здоровенных мужиков в передней г. директора, да права глядеть на портрет Рыкова.

\* \* \*

Вечером четвертого дня суд, покончив с учетом векселей, приступает к „растрате запасного капитала“. Спрошенный на сей счет Рыков говорит, что растрата была вызвана желанием протянуть еще надолго доверие вкладчиков. Товарищ



его И. Руднев наивно ссылается на свое плохое умение читать и писать.

— Но вы же все-таки подписывались, и подпись ваша всюду написана хорошим почерком!

— Он подписывался в продолжении 8-ми лет, — заступает защитник, — и так привык, что немудрено, если в его подписи виден хороший почерк.

Утром пятого дня допрашивается многочисленная стая прихлебателей Рыкова, составлявших „неофициальный отдел“ скопинской обжорки. Эти не состояли в числе служащих, но тем не менее жалованье получали. Илья Краснопевцев получал жалованье *из банка* за то, что был помощником церковного старосты. Из того же банка получал 50 р. в месяц Н. Шестов за то, что был домашним письмоводителем Рыкова. Дьякону Попову полагалась ежемесячная мзда „за сообщение Рыкову ходивших по городу слухов“. Защитники стараются доказать, что о. дьякон получал не за сплетни, а за молебны и зычный голос.

— Были ли у вас, о. дьякон, с Иваном Гаврилычем интимные разговоры?

— Может, когда и были, не помню-с. Все больше насчет церковного благолепия...

Кроме дьякона Попова получали от банка „благодарность“ в форме аккуратно выплачиваемого месячного жалованья: почтмейстер Перов, сигналисты Водзинский и Смирнов, телеграфист Атласов, секретарь полицейского управления Карчагин, судебные приставы Изумрудов и Трофимов и чиновники канцелярии местного мирового судьи...

Шпекинство почтмейстера Перова подтверждается показанием свидетеля Семакова, корреспонденции которого в

редакциях „почему-то“ не получались. Сам он не получил однажды „почему-то“ двух писем, писанных на его имя. Замечал, что номера газет с корреспонденциями из Скопина не получались обывателями и в общественной библиотеке старательно прятались.

Рыков не отрицает своей боязни корреспонденций, не отрицает и некоторых анти-газетных мер, принятых им „в виду массы анонимных писем“, в которых иксы и зеты угрожали пропечатать его во все корки. Слово „шантажные“ — срывается с его языка!

— И вы называете газеты шантажными, — говорит председатель, — за то, что они изображали истинное положение дел вашего банка.

— Нет-с... Я говорю о тех авторах писем, которые нахально требовали с меня денег...

Вызывается свидетель титулярный советник Изумрудов, бывший судебный пристав. Отворяется дверь и, сильно стуча ногами и потряхивая головой, входит высокий брюнет в „спинджаке“, в котором очень мало титулярного, в красной сорочке и ботфортах. Его большая, черная голова украшена громадной, мохнатой куафюрой, которой, повидимому, никогда не касалась целомудренная гребенка. Свидетель то и дело встряхивает головой, улыбается и шевелит бровями. Он заметно бравирует, и кокетничает своим знанием „всего подноготного“... На вопрос, за что ему выдавал банк жалованье, он просит позволения начать с самого начала.

— Призывает меня однажды к себе Рыков, — начинает он басом, гордо вскидывая голову и придавая лицу таинственное выражение. — Предлагает мне жалованье...

Он великодушно принимает...

— Зовет он меня в другой раз. „Отчего же, спрашивает, вы мне ничего не доносите, что между купцами говорится“. Меня, знаете ли, помutilo. Я, говорю, не за то получаю эти 25 р., чтоб быть вашим шпионом.

— Однако же у следователя вы не то рассказывали!

Читают показание, данное им на предварительном следствии и—увы!—находят там фразу: „хотя роль эта и грязна, но я по бедности принял его предложение“.

— Признаться, когда я давал показание у г. следователя,—улыбается Изумрудов,—была масленица и я ..тово... был выпивши, в беспамятстве.

— А у вас много было в городе знакомых купцов?

— Э-э-э... ходил в трактиры для чаепития, то да се...

Свидетеля отпускают. Он напоминает суду о прогонах, садится и самодовольно улыбается во все время до перерыва, когда он еще раз напоминает председателю о прогонах.

Все щедрые подачи из чужого кармана Рыков объясняет бедностью скопинских чиновников и стремлением своим к благотворительности.

— Отчего же вы не благотворили из собственного кармана?

Рыков отвечает, что удовлетворение бедняков было одной из функций банка, а если на все упомянутые жалованья не было журнальных постановлений и приходилось действовать самовольно, то на это были у него невинные приемы, в которых он не находит ничего дурного.

Жалованье неофициальным служащим выдавалось из двух источников. Одна половина получала из жалованья некоторых настоящих служащих, которые по „соглашению“ получали гораздо меньше, чем то фиктивно значилось в

ежемесячной росписи, на жертву другой половины были отданы купоны от имевшихся в банке серий.

— Купонами вы не имели права распоряжаться! Они не ваши!

— Но за то я имел право вместо серий иметь в кассе наличные деньги, которые не давали бы банку процентов.

\* \* \*

На долю конца пятого дня выпадают злоупотребления по операции „покупки - продажи процентных бумаг“. После бесшабашного учета векселей бумажные операции занимают самое видное место в ряду банковских „облупаций и обдираний“, подкосивших скопинский храм славы у самого его основания.

Покупки бумаг, на которые скопинская простота вначале возлагала большие надежды, не принесли банку ничего кроме страшных убытков. Чтобы замаскировать эти убытки и придать годовому отчету невинную физиономию, банковцы употребляли следующий палиатив. В начале января каждого года, какой-нибудь подставной мещанин, вроде глухого и ничего не смыслящего в политике Краснопевцева, совершал банку *quasi*-продажу известного количества процентных бумаг, которые в конце декабря фиктивно покупал он же у того же банка, но уже по высшей цене, и получаемая таким образом разница цен заносилась в счет прибылей. Во время таких продаж и покупок бумаги, конечно, лежали в банковском сундуке и на свет божий не показывались... Краснопевцев продал однажды банку процентных бумаг на 3.000.000, а купил их обратно за 4.000.000, и таким образом



банк записал в прибыль миллион... (Действительная же продажа бумаг через балкирские конторы дала банку около 2.000.000 проигрыша).

Спрошенный Рыков бумажных злоупотреблений не отрицает, но ссылается на крайнюю необходимость: „дело дошло до того, что предстояли две крайности: или продать пол города с молотка, или принять крайние, энергические меры, т.-е. показать в отчетах громадные убытки, а это было бы смертным приговором для банка“... Вообще, заметно, Рыков набирается храбрости и входит в роль... Он критикует нормальный устав, не дающий гарантий для вкладчиков и узды для правления... Он говорит „литературно“ и даже философствует:

— Кредит—это огонь, который, попав в руки взрослых людей, является очень опасным.

По его мнению, фиктивные бумажные операции производятся и в других банках.

Иван Руднев виновным себя не признает.

— Ничего я в этих бумагах не понимаю-с,—бормочет товарищ директора.—Подают мне подписывать, я и подписываю, а понять, что к чему—не моего ума дело...

— Чем же, наконец, вы были в банке?

— Членом-с... (в публике смех)...

— Что вы там делали?

— Подписывал-с...

Рыков находит нужным повторить свою „исповедь“ для тех газет, „которые прокричали на всю Россию, что есть такой зверь Рыков, который проглотил 6 милл., упрямо и настойчиво не печатают теперь исповеди, а если печатают, то в извращенном и сокращенном виде“.

Кстати говоря, об „извращенном и сокращенном виде“ Рыков слышал от других. Газет он теперь не читает. Ему разрешено читать одне только „Московские Ведомости“, но и те пришлось ему просить у одного пишущего, которому удалось побеседовать с ним на этот счет...

Покончив с разного рода фикциями, суд приступает к погрешностям по ежемесячному и ежегодному контролю „цветущего состояния банка“ и его сундука... Тут Рыков поднимается и протит позволения сказать слово о годовых отчетах.

Опять умоляющее лицо, дрожание рук... Опять речь о миллионе, погубленном на уголь, о нормальном уставе, не дающем гарантии вкладчикам и узды правлению... Планы годовых отчетов высылались ему благодетелями из Петербурга, но кто высылал, он говорить не желает... Неправильности в контроле являлись необходимостью вследствие „недостатка мужества“ ликвидировать дела банка...

— Прошу эти мои слова,—закапчивает Рыков, задыхаясь от мучающих его сердцебиений,—стенографировать и напечатать...

Городские головы, члены управы и гласные, на обязанности которых лежал контроль банка, отчеты подписывали и похваливали, но не проверяли, хотя и знали о их злокачественности... У одних из них не хватило имущества, другие верили старшим, третьи действовали по неразумию...

Выясняется на суде, что отчеты подписывались разом за несколько месяцев, что они носились для подписки по лавкам и домам, а о собраниях и помину не было...

Защита невесела... Она чувствует себя в загоне и ропщет... То и дело слышатся председательские: „это к делу

не относится!“, „это уже разъяснено!“, „не позволю!“... Какой-то защитник из молодых, обрезанный председательским veto, просит о занесении в протокол. С другим, у которого от непосильной работы, и частых veto напряжены нервы *ad maximum*, делается в буфете что-то в роде истерики... Вообще, вся защита, *en masse*, повесила носы и слезно жалуется на свою судьбу, на прессу... Ни в одной московской газете, по ее мнению, нет ни порядочного отчета, ни справедливости, ни мужества...

\* \* \*

Седьмой день—день психологов, бытописателей и художников. Скучная бухгалтерия уступает свое место жанровой характеристике лиц, характеров и отношений. Публика перестает скучать и начинает прислушиваться.

Свидетелями подтверждается, что дума находилась в полной зависимости от правления банка. Городские головы, гласные и их избиратели сплошную состояли из должников банка—отсюда страх иудейский, безусловное подчинение и попускательство... Город изображал из себя стадо кроликов, прикованных глазами удава к одному месту... Рыков, по выражению свидетелей, „наводил страх“, но ни у кого не хватало мужества уйти от этого страха.

Свидетель Арефьев, мужичок, должный банку 170 тысяч, повествует, что один только бог мог бороться с Рыковым. Все его приказания исполнялись думой и обывателями безусловно.

— Большое лицо был... Скажи он: „передвинуть с места на место этот дом!“ и передвинули бы. *Никто* не мог прекословить... Человек сильный... Ничего не поделаешь!..

По его мнению, товарищ директора и кассир Ник. Иконников—человек хороший, честный и состоятельный, поступил же в банк „по глупости“.

— На его месте и никогда бы не пошел служить в этот банк... В банк шел тот, кто бога не боялся...

Свид. Котельников рассказывает, что перед каждым выборами агенты Рыкова ходили по дворам обывателей и советовали не выбирать „господ“, которых Рыков не долюбил, а выбирать городских, обязанных банку. По его мнению, Рыков сделал для города много хорошего. Построенная им дорога значительно повысила скопинскую торговлю.

Тут Рыков поднимается и просит позволения сказать несколько слов о построенной по его инициативе железной дороге. Он заявляет, что эта дорога, приносящая теперь Скопину „вековую“ пользу, стоила ему частых и хлопотливых поездок в Петербург, издержек и проч...

На заседаниях думы он сидел обыкновенно рядом с головой и по каждому докладу подавал мнение первый... Это мнение и принималось, а всякие против него возражения отвергались. Составление собрания думы для рассмотрения годовых отчетов вызывало со стороны Рыкова и его верно-подданных голов особые меры. Заседания эти зачастую начинались внезапно, вследствие чего люди вредные и подозрительные получали повестки за полчаса до заседания, или же, что проще, после заседания.

Свид. А. Кичкин, человек „вредный“, рассказывает, что перед одним заседанием, в которое гласные хотели избрать его кассиром, Рыков услали его из города „осмотреть железные и медные вещи“, и что повестка была вручена ему в то время, когда он садился на поезд. В кассиры выбран он



не был, потому что знающий законы Рыков заявил на заседании, что „отсутствующие“ избираемы быть не могут, и таким образом „вредный дух“ был выкурен. Каждый праздник Рыков посылал в Петербург поздравительные телеграммы и получаемые ответы приказывал печатать и рассылать по домам и лавкам. Действуя таким образом, он не мог не приобрести репутации человека „высоко стоящего“. Подсудимый, городской голова Василий Иконников, которого, как рассказывают, спаивал Рыков, по словам Кичкина, пил сильно и даже на заседания являлся в пьяном образе.

Интересное показание дает врач Пушкарев, скопинский старожил и теперешний голова... Он говорит с жестикующей, щеголяет образными, витиеватыми выражениями и старается объяснить самый „корень“, но с трудом сосредоточивается на каждом вопросе...

Рыков, по мнению доктора, человек „особой характеристики“, необыкновенный. Его нельзя мерить обыденным аршином. Польза, которую принес он городу, громадна.

— Город стал на высоту губернского и, если отнять у него все данное Рыковым, он обратится в „пустыню“. Богадельни, приюты и учебные заведения Рыков устраивал из честных побуждений...

— Вы знаете, что в Скопине был приют имени Рыкова. Не находите ли, что учебные заведения и библиотека были устраиваемы им из тщеславия.

— Нет, любил народное образование.

Остальных подсудимых доктор сравнивает с матросами...

— Все это корабль, а они матросы... Корабль плывет, а матросы натягивают паруса, слушают приказания вождя, но не ведают, куда несет их корабль...

Бухгалтера Матвеева свидетели рекомендуют с хорошей стороны. Жил он тихо и скромно, слушался Рыкова и без предварительного доклада никаких дел не совершал. Кассир и товарищ директора Иконникова в дополнение к хорошим аттестациям, которыми свидетели украшают его нрав и характер, заявляет:

— Да ей богу! Вот как перед богом! Я и не хотел в банк поступать! Зовет раз меня к себе Рыков и приказывает: „Иконников, ты поступи на Василь Якалича место... Я Христом богом... Ослабоните, я неграмотен! А он гырт: „Тебе, гырт, нет дела до твоей малограмотности, ты только подписывай“. Не послушаться нельзя было: в дребезги разрушит. Приказал, почему и сажу таперича на подсудимой скамье...

Свид. Дьяконов, очевидно, ждал процесса, чтобы излить свою желчь, напившуюся годами... Давая свое показание, он нервно спешит и пускает в сторону Рыкова негодующие взоры...

— Я шел против банка, и за это он посадил меня в тюрьму! Я был должен 20 тыс. и сидел, другие же, которые должны были 500 тыс. и более, оставались в покое... Сидел я 11 мес., а он говорил всем в это время: „Так вот я поступаю со всеми, кто идет против меня! Со мной опасно ссориться!“ Войдя со мной через поверенного в сделку, он выпустил меня, но, взяв мои дома, нажил 10 тыс., так как никого на торги не пустил и имущество оставил за собой. Кроме меня, за долги еще никто не сидел, потому что кроме меня никто не шел против него...

Показание Дьяконова Рыков объясняет мщением за 11-ти месячное тюремное заключение и просит не верить.

— Не я нажил 10 тыс., а банк... И как я мог не пустить на торги, если о них печатается!

Маленький черненький защитник с сильным еврейским акцентом спрашивает у одного свидетеля:

— Говорил ли когда-нибудь Рыков вместо головы?

— Это физически невозможно! — протестует Рыков... Мне даже обиден подобный вопрос...

Председатель призывает маленького защитника к порядку и советует ему „прежде подумать, а потом уже спрашивать“.

\* \* \*

Вечер седьмого дня посвящен обвинению Рыкова, Руднева, Иконникова и прочих рыковцев в том, что они „составляли и скрепляли своими подписями заведомо фальшивые отчеты о состоянии банковской кассы для думы и министерства финансов“... Отчеты составлялись *lege artis*, но дело в том, что отчеты для думы разнились во многом от gross-буха, а отчеты для министерства тинули из разной оперы и с gross-бухом, и с отчетами для думы, и таким образом одна „правда“ подносилась думцам, другая — министерству...

Эта отчетная разноголосица подтверждается и сознанием подсудимых, и показаниями свидетелей... Выясняется, что бухгалтер Матвеев, чуявший нюхом весь риск подобных отчетов, ежегодно перед составлением отчетов брал отпуск и уезжал на богомолье, оставляя все на помощников своих Швецова и Альяшева. Поездки Матвеева и его косвенный нейтралитет особенно усердно подтверждаются родственником Феногеновым. По милости этого Феногенова происходит на суде маленький пассаж... Давши свое показание и севши на место, он вдруг поднимается, подходит к свидетельской решетке и заявляет о своем желании сделать дополнение к только что сказанному... Показание его для Матвеева благоприятно... Такое же свойство имеет и его дополнение...

— А вы, ведь, родственник Матвеева, замечает председатель...

Г. Курилов, защитник Матвеева, весь состоящий из сладенькой улыбки, защитнический словарь которого переполнен сладенькими словами „почтительнейше“, „покорнейше“, „ос-  
люсь заявить, ваше п-о“ и проч., вдруг поднимается и, согнав с своего побледневшего лица обычную сладость, просит замечание г. председателя занести в протокол.

Перед концом заседания Рыков просит председателя о том, о чем просил вчера и третьего дня, о чем попросит завтра и после завтра: начать завтра заседание его, Рыкова, исповедью. Наступает утро восьмого дня, и Рыков говорит то же самое, что говорил в продолжение всей истекшей недели и о чем не перестанет толковать и в дни будущие. Исповедь его приелась и суду и публике.

Когда Рыков поднимается, чтобы завести свою машинку, его защитник г. Одарченко морщится...

— Садитесь! — оборачивается он к своему клиенту. — Слушайте председателя!

В составлении фальшивых отчетов и скреплении их подписью Рыков виновным себя признает.

— Я в этом деле был преступен, но...

И после „но“ следует та же исповедь с повторением, что „говорю по совести, планы для отчетов я получал из Петербурга, а это (указывает на подсудимых) не счетчики, а только прикладчики!“

За сим новый пункт обвинения: начиная с 1874 г., ежегодно перед тиражем 1-го и 2-го займа рыковцы делали постановление о продаже подставным лицам, Рудневым и Краснопевцеву, выигрышных билетов, немного же погодя, когда миновало время выигрышей и тиражей, делалось постано-



вление об обратной покупке этих билетов. Делалось это ради фиктивных прибылей, которыми замазывали отчетные дыры..

Рыков по этому пункту виновным себя признает и опять начинает исповедь.

Кроме Рыкова, никто другой виновным себя не признает.

— Приказывал-с... Мы даже не понимаем-с...

На долю того же дня выпадает и выпуск фиктивных вкладных билетов и покушение на сбыт их. На сцену выступают новые герои, новые дела и новые театры действий.

В 1882 г., когда по выражению витийствующего Рыкова, его дом „окружали толпы вкладчиков с револьверами“, Рыков начал проявлять большого рода деятельность, клонившуюся к достаче денег во что-бы то ни стало и хоть скольконибудь. Что всего страннее миллионер перестал брезгать даже грошами. Ему вдруг понадобились деньги, но не для удовлетворения „толпы с револьверами“, как он силился доказать, ибо сотней тысяч этой толпы не удовлетворишь, а для чего то другого.

Деятельность его по сбору крох так первна и в ней столько хлопотливого снеха, что приходится подозревать в ней предчувствие „черного дня“ и неизбежное с ним припрятывание... Он сдает в долгосрочную аренду свое имение в с. Ногайском, распродает в том же имении хлеб, сено, орудия и проч... Он совершает две закладные на имение в Рязанском уезде, продает мужу своей сестры имения, находящиеся в трех уездах... Но этих денег все-таки мало, и он старается изо всех сил продать, пока еще не поздно, фиктивные вкладные билеты своего банка.

Рыков виновным себя признает, но полагает, что от описываемых операций банку убытка не было... Цель—„толпа с револьверами“.

— Все же остальные, которые участвовали в покушении на сбыт этих билетов, о фиктивности их ничего не знали и были только моим орудием...

— Но подумали ли вы о тех, которые купят эти бланки?

— Утопающий хватается за соломинку... Надеюсь на субсидию...

И опять исповедь... Обвиняемый Виноградов, землемер, маленький, тощенький титулярный советник, ездивший в Витебск продавать билеты, виновным себя не признает.

— Я считал Рыкова богатым человеком и никак не мог думать, чтобы он из-за каких-нибудь 40 тыс. мог пуститься на такое дело! Не предполагал даже.

Подсудимый Донской, коллежский советник, тоже покушавшийся на сбыт, виновным себя не признает. Он не знал о фиктивности. Коммерции советник Попов говорит длинную речь о своем неведении свойства рыковских билетов и кончает рыданием со словами: „Очутился здесь! Легко сказать“. И последний обвиняемый по этому пункту Семен Оводов, тип уездного кулачка в чуйке, сапогах бутылками и „суздальским письмом“, виновным себя не признает и объяснений давать не желает...

При допросе свид. Грюнфогеля, к которому в Москве обращался Оводов за помощью, защитник Высоцкий получает замечание за то, что обзывает свидетеля „биржевым зайцем“...

— Это слово скверное... Вы должны относиться к свидетелю с уважением!

\* \* \*

Вечер восьмого и утро девятого дня знакомит публику с „Обществом каменноугольной промышленности московского

бассейна“, стоившим Рыкову, или, вернее, его вкладчикам, более миллиона рублей. Общество это создал скопинский „бонза“, купно с действительн. ст. сов. Евгением Бернардом. Насколько ценны были акции этого мертворожденного общества, можно видеть из показаний „директоров“ правления Донского, Евтихьева, Матвеева и Кичкина, которые, чтобы иметь право на запятие должностей директоров и их кандидатов, получили от Рыкова и Бернарда по куче акций бесплатно.

В 1876—77 г. г., когда работы на шахтах уже были прекращены, и самые акции были отданы домашнему потреблению, рыковцы учинили на петербургской бирже фиктивную сделку, установившую цену акциям, и этой сделкой ввели в заблуждение министерство финансов. В своем указателе оно разрешило принимать акции, над которыми в Скопине уже смеялись. Только благодаря местным органам министерства, подкупить которых Рыкову не удалось, и которые воочию убедились в „воздушности каменноугольной промышленности“, министерское разрешение было поспешно отобрано назад, и рыковцы остались на бобах.

Девятое утро не избегает общей участи. Увы! и оно начинается речью Рыкова.

После рыковской речи серый фон, который видела защита доселе, делается черным, как сажка. Маленькие надежды, навешанные показаниями прошедших дней, лопаются и обращаются в пыль. Рыкову не сдобровать.

Его лакей Филиппов показывает, что незадолго до краха Рыков в течение двух недель сжигал какие-то бумаги. Бумаги эти вынимались из двух кладовых, клалась на телегу и отвозились в баню, где и сжигались.

— Я имел странную привычку собирать всякие бумаги, — объясняет это аутодафе Рыков. — Сжигал я их отчасти с тою целью, чтобы они не могли скомпрометировать петербургских лиц.

Свид. Альбанов, бывший акцизный чиновник, а ныне участковый мировой судья и гласный думы, дает в высшей степени интересное показание, сильно изменяющие шансы Рыкова и г. Одарченко. Он не повествует ничего нового, но все раньше бывшие показания собирает воедино и подносит их в одной сильно действующей дозе...

Он рассказывает, что деньги тащил из банка всякий, имевший руки. Тащили, сколько и когда хотели, не стесняясь ничем. Кассир Сафонов таскал деньги из банка в платке и носил их домой, как провизию с рынка. Дела банка стали пошатываться в 1876—77 г. г., отсюда желание поправить дела эти проделкой с акциями угольного общества... За сим дела банка стали поправляться, так как наступила война.

Деньги, которые наживались и кралась на войне, высылались в банк, и было время, когда банк получал по 50 тысяч вклада ежедневно. Перед войной агенты Рыкова жили в Кишиневе и рекламировали там свой разбойничий вертеп („цветущее состояние и немедленная выдача по требованию...“), на какую рекламу ответы последовали немедленно... Но это облегчение, принесенное войной, было скоропреходяще... В 1882 году свидетель застаёт уже в банке картину со всем его хаосом... Спрошенный о думе и чтении отчетов, г. Альбанов смеется...

— Отчеты всегда читались так, что и понять нельзя было... Делалось ли это умышленно, или нет, сказать наверное не могу...



Рыков признавал ее, только как одно из своих орудий. Когда одному исправнику захотелось однажды в каком то случае показать свою самостоятельность, Рыков срезал этот „центр уездной власти“ такой фразой:

— Важная птица! Да ежели я захочу, так завтра же мне целый вагон исправников привезут!

Рыкова рекомендует свидетель, как человека грубого, честолюбивого, мстительного; человеческого достоинства этот жировик не признавал. Призывая, например, к себе на дом кого-нибудь из служащих и уведомленный о его приходе, он говорил: „Пусть подождет!“ Служащий ждал в передней час, два, три...— день... до тех пор, пока лакей не уведомлял его, что „сам пошел спать“. Для служащих у него были передняя и „ты“. Дальше этих двух выражений барствующего холуйства отношения его к людям не шли... Людей, которые ему почему-либо не нравились, он выживал всячески... На одних делал донос в неблагонадежности, других выпроваживал „административным порядком“... Некий Соколов, дерзнувший в его присутствии пасвистывать, был выпровожен таким образом.

— Привезли его через полицию на вокзал, вручили билет III-го класса и—айда.

Той же участи подвергся и другой смельчак, игравший в отсутствии Рыкова на любительском спектакле... Рыкова не стесняли „ни время, ни пространство“ и не верилось даже в существование власти, могущей сквырнуть эту титаническую силу, или хотя бы сбить спесь...

Одевался он в шитый золотом мундир и белые генеральские панталоны. Грудь его была увешена орденами, как русскими, так и иностранными. Между последними был также и персидский орден „Льва и Солнца“.

— Вы на любительских спектаклях участвовали,—спрашивает Рыков г. Альбанова, во время показания которого он сидит, как на иголках...

— Да, всегда.

— Вы считаетесь там хорошим актером, *оттого* то так и показываете.

Председатель объявляет Рыкову, что если он будет оскорблять свидетелей, то его выведут из залы... Но Рыков не успокаивается.

— Он меня больше оскорбил своим показанием! Прошу занести его показания в протокол! Он оскорбил и министерство иностранных дел! „Льва и Солнце“ я получил от самого шаха за собственною его подписью и т. д.

Засим показывает уездный врач Битный-Шляхто... Показание его по характеру однородно с предыдущим и режет Рыкова пуца пожа острого. Он рассказывает свои личные похождения в роли человека, обвиненного Рыковым в неблагонадежности... Чего только не претерпел этот пожилой и заслуженный врач. И нечаянный перевод из нагретого места в Касимов и требование знакомым исправником „паспорта“, и приказание выехать „немедленно“... Проходя все тартары человека, желающего узнать, за что его гонят, он тут только понял, как силен и властен был Рыков!

— Если со мной проделывал он такие штуки, то что же стоило ему удалить какого-нибудь мещанина!

— Вы поляк?—силится Рыков скомпрометировать „политически“ свидетеля...

— Но, ведь, вы русскоподданный? — парализует его некрасивый вопрос г. Муравьев.

— Да, и учился в московском университете...

Далее г. Шляхто описывает скопинские „предержащие власти“. Ныне умерший мировой судья Александровский, состоявший должным банку 100 т., был образцом несправедливого судьи. Судил он так, как хотел Рыков и за это получил в народе прозвище „рыковского лакея“. Однажды этот рыковский лакей решил какое-то дело так праведно, что на съезде товарищ прокурора Шереметьевский нашел нужным донести о действиях Александровского, куда следует...

— Скажите Шереметьевскому, что его переведут! — пострадал всесильный Рыков.

И этот судья держался на месте три трехлетия, благодаря „всеобщей уездной деморализации“, как старается доказать волнующийся г. Одарченко, или благодаря „всеобщей денежной зависимости от Рыкова“, как утверждает г. Шляхто.

Следующий свидетель г. Треммер рассказывает, что во время краха, когда в Скопин прибыл прокурор судебной палаты, Рыков не падал духом.

— Говорил о Гамбете, Биконсфильде, но о положении дел ни слова. Очевидно, всесильному тузу не верилось ни в арест, ни в тюрьму...

\* \* \*

Вечер девятого дня. Газетчики, предвкушая наслаждение, облизываются, а публика, охотница до пикантностей, притаила дыхание...

Дело в том, что к свидетельской решетке подходит Н. И. Пастухов, редактор „Московского Листка“. В обвинительном акте красуются следующие строфы: „однако старания Рыкова были мало успешны: удовлетворительный исход получили лишь переговоры с редактором „Московского Листка“ куп.

Николаем Пастуховым, который, по показанию Оводова, согласился не печатать компрометирующих банк и Рыкова статей, за что получил 700 р. Не удивительно же поэтому, что газетчики in corpore прикладывают руки к ушам и увеличивая, таким образом, свои ушные раковины, с жадностью ловят каждое пастуховское слово.

Г. Пастухов поясняет, что 700 рублей взяты им не за молчание и не за фимиамы, как хотелось бы любителям пикантного, а за заказ. Взяты они им авансом за напечатание объявлений о скопинском банке и потом, когда объявления эти в редакцию не присылались и банк стал лопаться, г. Пастухов почел за нужное отправить их в конкурсное правление, откуда и имеет в удостоверение квитанцию.

O fallacem hominum spem! Облизывающиеся физиономии антагонистов вытягиваются и принимают крайне разочарованный вид. Ожидаемое развлечение не состоялось и таким образом единственное пятно, лежавшее на прессе, сослужившей такую блестящую службу в деле открытия скопинских дебоширств, ступеньвается до нуля... Не отказавшись от показания (что сделали другие г. г. редакторы), г. Пастухов оказал тем самым не малую услугу... Им было констатировано, что Рыкову, подкупавшему всех и вся, не удалось подкупить ни одного русского печатного органа.

Отпустив г. Пастухова, который был последним свидетелем, суд приступает к чтению различных документов. Прочитывается, между прочим, и рыковский формулярный список. Рыков находит его недостаточно полным.

„Там не обозначено еще, что под конец моей служебной деятельности я был пожалован Владимиром 3-й степени и



орденом „Льва и Солнца“. Не обозначено также, что я состоял попечителем скопинского реального училища“.

Десятое утро начинается, конечно, речью Рыкова. Все придуманное за ночь новоиспеченный Цицерон выкладывает перед судом утром. Речи его, быть может, и искренни, но они так тяжелы и так часты, что Рыков, говоря их, только проигрывает.

— Я говорю не как подсудимый, а как русский гражданин, обязанный исполнить свой долг.

Говорит он „пред лицом всевидящего бога, пред лицом публики, жадно наполняющей эту залу, и в виду газет, разносящих по нашему необъятному отечеству все слова, которые здесь произносятся“...

— Говорю это пред лицом ходатая за моих вкладчиков, которого вся Россия справедливо считает самым красноречивым оратором...

Но Плевако не удастся скушать этот комплимент... Его еще нет в суде. Он приходит обыкновенно на заседание позже всех, около часу дня, бразды же правления оставляет своему союзу юному Дмитриеву.

За речью следует чтение бумаг, найденных при домашнем обыске у бухгалтера Матвеева. Бумаги эти писаны карандашом „для себя“... Матвеев, не обладающей хорошей памятью, записывал, „ежели Иван Гаврилыч спросят“, все свои деловые разговоры... Форму предпочитал он катехизическую, с вопросами и ответам:

В. Можно ли в отсутствие И. Г. учесть векселя Сафонова?

О. Иван Иваныч едва ли согласится.

В. Протестовать их можно?

О. Да...

И все в таком же роде. Характерного много, но компрометирующего ничего. Матвеев охотно дает объяснение каждой бумаге... Говорит он складно, с искренностью в тоне и не забывая своих любимых: „мотивируя“ и „это не входит в круг моих действий“. Вообще на суде держит он себя лучше всех подсудимых; не подпускает свидетелям „экивок“ и не отказывается от необходимых объяснений.

По прочтении его бумаг, для публики наступает „большая неприятность в образе экспертизы... Эксперты изучили скопинское дело „насквозь“, но говорят такую тарабарщину, что дамочкам делается дурно. Из 500 человек публики экспертов понимает разве только одна пятисотая часть, да и то по теории вероятностей.

В их тарабарщине я ничего не смыслю, но от знатоков дела слышал, что экспертиза исполнена добросовестно и с знанием дела, несмотря на ее выходящие из ряда воп трудности. Г. г. Кожевников, Зарубин и Романов каждый день завалены работой, а вопросам, предлагаемым на их разрешение, нет числа...

Следствие окончено и теперь очередь за прениями.

\* \* \*

Одиннадцатое утро.

Наступает самая интересная часть процесса—прения сторон. Г. Муравьев становится за свой стол, кладет на пюпитр большую тетрадь, но... прежде чем публика слышит его первое слово, ей приходится быть свидетельницей из ряда воп выходящего недоразумения.

Дело в том, что пунктуальный Рыков и это утро хочет начать своею речью...

— Повидимому вы не знакомы с порядком судопроизводства!—останавливает его председатель.—Теперь вы должны слушать обвинительную речь и молчать...

Но Рыков настойчиво требует слова...

— Я хочу защищаться!

Председатель угрожает подсудимому выводом из залы заседания, но это еще больше вдохновляет речистого Рыкова. Он еще раз требует „пред лицом публики“ и... его торжественно выводят из залы... Иван Руднев и Ник. Иконников остаются без соседа.

После этого председатель дает звонок, и г. Муравьев начинает прения.

Эти строки пишутся во время обеденного перерыва, а потому о речи г. Муравьева я могу судить только по ее плану и форме, так как содержание ее вступления есть только художественная перефразировка обвинительного акта.

Уже один план ее показывает, как блестящ талант г. Муравьева и сколько страшного труда потребовало от него расчленение скопинского гордиева узла.

Манера говорить у г. Муравьева профессорская. Он даже и жестикулирует, как профессор. Лекция его начинается с „истории предмета“... История эта коротка, но слушатель узнает из нее все необходимое для освещения последующей сущности... Привожу характерную оценку показаний самих подсудимых (приблизительно):

— Расхищены 12 милл. Кто же виноват? Рыков сваливает всю вину на неполноту нормального устава, на недостаток контроля... Он не виноват... Не виноваты также и его

товарищи Рудневы и Иконников, потому что по неграмотности они подписывали все, что только им ни подавалось... Не виноват и бухгалтер Матвеев, уезжавший ежегодно перед каждым отчетом на богомолье... Не виноват Евтихий, который был только письмоводителем... Городской голова В. Овчинников тоже не виноват, потому что у него в Скопине родственные связи, много знакомых и к тому же у него мягкий, уступчивый характер... Кто же виноват и где искать виновников?

Следует засим короткая, но тщательная диагностика... Г. Муравьев, вооруженный программой и знакомый с умственным цензом своих слушателей, считает также нужным пояснить им, что говорит „нормальный устав“, что значит „учет векселей“, „городской банк“ и проч.

После первого перерыва опять недоразумение... Рыков, введенный в залу, опять требует „права защищаться“. О том, что его требование нарушает порядок судопроизводства он и слышать не хочет.

— В таком случае,—заявляет он, разгневанный отказом,—я сам не желаю сидеть здесь и освобождаю моего защитника от защиты! Я не хочу, чтоб он говорил за меня!.. Освобождаю!

На вопрос председателя находит ли он, как доверенное лицо подсудимого, возможным после замещения Рыкова продолжать свое дело, г. Одарченко подходит к столу и заявляет, что чувство долга он ставит выше своего личного чувства и в силу данной им присяги не находит резонным оставлять без защиты Рыкова, который к тому же сильно возбужден.

Рыков выходит из залы суда с сознанием, что он, уходя и освобождая от защиты г. Одарченко, дает повод к кассации...

— Первый случай за все время судебной практики,—слышится шопот...—Объясните, как же это? Почему? и т. д.



Очевидно, Рыкова подучил кто-то... Сам он своими плебейскими мозгами не мог додуматься до такой штуки.

Г. Муравьев продолжает... Присяжные глядят в его сторону и слушают. По мнению некоторых из публики и юристов, присяжные слушают „плохо“. Повидимому, они изучившие дело по следствию, уже „порешили“.

Коридоры суда и, в особенности, буфет полны народа... Буфет, выручающий в обыкновенные „рыковские“ дни по 150 — 200 рублей ежедневно, сегодня выручит, наверное, вдвое больше.

\* \* \*

Одиннадцатый вечер начинается чтением заявлений, в котором Рыков смиряя свой „ндрав“ и слагая оружие, поручает присутствовать во время чтения обвинительной речи своему защитнику г. Одарченко. Самого же его в зале нет. В силу каких-то, ему одному только ведомых, высших соображений он предпочитает отсутствовать.

Г. Муравьев продолжает свою речь... Вторая, вечерняя половина ее посвящена характеристике обвиняемых... Достается всем сестрам по серьгам... В особенности же достается Рыкову, Ивану Рудневу, Евтихееву, Матвееву и Владимиру Овчинникову, „сквозь слезы которого, пролитые здесь на суде, слышались совсем другие слезы“ — слезы вкладчиков, обобранных чрез попускательство слабохарактерного городского головы... „Выигрышные билеты“ выпадают на долю только Краснопевцева и бывшего кассира Иконникова. Первого г. Муравьев рекомендует отпустить на все четыре стороны „за давностью лет“. Ему 79 лет и, кроме того, он перенес на своем веку такую массу превратностей,

что прибавлять к ней еще одну превратность в форме наказания, нет надобности... Он служил у Рыкова домашним полуграмотным атташе, служил потом в библиотеке, в церкви (помощником старосты), в приюте... делал миллионные вклады и ничего не получил, покупал на 4 милл. билетов и ничего не выиграл... и в конце-концов попал на скамью подсудимых. Иконникову же советует г. Муравьев дать списхождение за чистосердечное сознание, сделанное им у исправника. Остальным — „ликвидация“.

Сегодня утром наступает очередь присяжных поверенных. Публики чуть ли не больше, чем вчера... До того тесно, что во время одной из нижеописанных речей двое из публики усаживаются на скамью подсудимых... Увидев этих двух оригинальных волонтеров, курьер становится втупик: „Имеет ли право невинный человек сидеть на скамье подсудимых“. Не беря на себя смелости решения такого „юридического“ вопроса, он обращается за разрешением к смотрителю зданий г. Филиппову, который советует „попросить встать — вот и все“!

Г. Плевако подходит к пюпитру, полминуты в упор глядит на присяжных, „словно выстрелить хочет“, и начинает говорить... Речь его ровна, мягка, искренна... Образных выражений, хороших мыслей и других красот многое множество, но... слишком уж поверхностно и витиевато! Дикция лезет прямо в душу, из глаз глядит огонь, но соловья не накормишь пластическими устарелостями вроде „храмина“, „скрижаль“, „начертание“, „логовище“..., которыми пестрит его речь, не накормишь его и общими местами... Речь продолжается час с четвертью, и г. Плевако, отходя от пюпитра, оставляет какое то странное, смешанное впечатление. Пу-

блика долго не верит, что он уже кончил... Ждет она еще чего-то, ибо мало того, что изрек г. златоуст, до того мало, что в голове после его речи не остается ничего, кроме отдельных выражений и афоризмов.

После мучительного для г. Одарченко перерыва, второй гражданский истец, молодой Дмитриев, заявляет, что его слово после речей гг. Муравьева и Плевако „является лишним“. Для начинающего таланта это признание себя „лишним“ является подвигом, для утомленных же присяжных заседателей оно составило приятный сюрприз...

Речь свою г. Одарченко начинает не просто, а с ужимкой.. Этот сын далекой Украины начинает чрезвычайно картинно... Если гоголевский Андрий именно так начинал свое объяснение в любви, то не удивительно, что его полюбила польская панна... Г. Одарченко делает шаг назад и откидывает назад правую руку, как бы желая кого-нибудь ударить... потом делает два шага вперед, картинно проводит в воздухе обеими руками, вытягивает по гусиному шее и начинает поэтически-метеорологическую прелюдию: „гремящий гром, блестящая молния, освежающий дождь... яркие лучи солнца!“ Брови его двигаются, голос дрожит... Он не говорит, а декламирует, жестикулируя и вибрируя голосом, как провинциальные дон-жуаны, декламирующие в туземных клубах Некрасовское „Эх ты, страсть роковая, бесплодная“...

Говорит он по хохлацки. Вместо Рыкова выходит у него „Рыкоу“, вместо похвала — „пофала“...

— Рыкоу был галава, а остальные скопынцы — туловище. Галава уже отсечена и валяется на пэске, обогривая песок кровью, туловище же еще живет и проч.

Говорит он горячо, нервно... Рука его то и дело протя-

гивается к стакану с зельтерской водой, но не дотягивается до стакана и начинает рассекать воздух. Он силится подчеркнуть, что он не оправдывает, а раз'ясняет. „История одного города“, в которой изображает он Скопин до и после грехопадения, изобличает в авторе и талант, и оригинальную точку зрения.

— Не все на долю злой воли, не все на долю безнравственности, отдайте многое и бестолковщине! — просит он присяжных.

\* \* \*

Попытка г. Одарченко очертить Рыкова, как характер *suis generis*, не поддающийся аршину, которым измеряются обыкновенные смертные, остается попыткой. Мало у г. Одарченко силы, не мастер он на художественные взмахи, какими изобиловали речи его противников, и к тому же он достаточно холоден... Дела в его речи много, но силы, как говорится, кот наплакал... Вся сила ушла в жестикуляцию и голосовую дрожь... Несколько раз перечисляет он блага, принесенные Рыковым г. Скопину, и всякий раз почему-то начинает с пожарной команды...

В заключение он просит у присяжных снисхождения человеку, который уже много выстрадал и которому остается теперь только одно:

— Боже, будь милостив мне, грешному!

Вслед за г. Одарченко говорят его многочисленные коллеги. Происходит нечто вроде экзамена. Один говорит, а другой сидит возле на очереди и, волнуясь, перелистывает жиденький конспектик. Во всех речах заметна, прежде всего, тщательность обработки и стремление к „шикам“... Один



именует Скопин „маленькой республикой“, другой „восточным деспотическим государством“, третий возводит Рыкова в „скопинские князья“. У всех на языке вертится „темная туча“, которую рассеивает луч солнца, и все пребывают в благополучной надежде, что их „он“ выйдет „отсюда с верой и с сознанием, что“... и проч., т.-е. будет оправдан. Говорят они понемногу, но их самих так много, что не знаешь, кого и слушать. Никакой памяти не удержать всех тех изречений, афоризмов и цифр, которые они выпаливают, не скупясь на заряды, не удержать даже сущность их защиты, ибо, строя оправдания своих клиентов на вине других, они производят несосветимую путаницу.

Второго члена скопинской „директории“ И. И. Руднева защищает г. Скрипицын, человек в сажень вышиной и тощий, как Сарра Бернар. Худоба его еще более оттеняется его черной мохнатой головой, которую в публике невежливо именуют „патлами“. Когда он, бледно-желтый, с впалыми глазами и костлявыми пальцами поднимается говорить, то публика ждет замогильного голоса. Но голосом он мало похож на привидение. Из его груди выходит „медь звенящая“, слышная даже в далеких коридорах.

Защищая своего Ивана Иваныча, он напирает на певежество его и на авторитет Рыкова. Иван Иваныч 8 лет „подписывал“, не ведая, что творит. Говорит г. Скрипицын не плохо и публика ставит ему четвертку.

За неинтересными г. г. Фогелером и Швенцеровым, следует г. Курилов, защитник бухгалтера Матвеева. Наружностью это самый солидный адвокат на свете. Статен, осанист и, как говорят его слушательницы, „интересен“. Стоит в штате московских знаменитостей, в особенности с

тех пор, когда пролил напрасные слезы за дедушку Мельницкого. Говорит он хорошо и без излишней жестикюляции. Что его речь за Матвеева хороша, свидетельствует уже одно то обстоятельство, что нижепоименованные защитники почти все в своих речах ссылаются на его речь. Публика ставит ему пятерку.

Г. Холщевников, защищающий помощника бухгалтера Швецова, проговаривает свою речь, как одну очень длинную скороговорку. Он говорит быстро, как хорошо заученный урок, изображая собой „колокольчик однозвучный“. Постороннему уху кажется, что слово перескакивает через слово, и что из уст оратора вылетает по две, по три фразы одновременно, отчего и получается нечто похожее на тру-ту-ту-ту“.

Отзвонив и удаляясь с колокольни, защитник уступает свое место г. Гаркави, защищающему пятерых: Шамова, Лазарева, Ивана Овчинникова, Кистенева и слепого Барабанова, гласных и членов управы, бывших рукоприкладчиками на ежемесячных отчетах банка.

Говорит он коротко, но ужасно горячо и так убедительно, что присяжным остается только согласиться с ним и перейти к слушанию г. Муратова, защитника помощника бухгалтера Альяшова. Г. Муратов, хотя и плеши, по еще от юнцов не ушел. Состоит еще пока помощником присяжного поверенного. Речь его производит приятное впечатление своей ровностью, хладнокровием и отсутствием „темных туч“, голосовой дрожи и других миндальностей. За то следующий за ним г. Сазонов, маленький „аблакатик“, кучерявый, как барашек и безусый, по части жалких и ядовитых слов затмевает всех и вся... Прежде чем начать гово-

рить, этот юноша закрывает ладонью лоб, облакачивается о пюпитр и задумывается, а la Печорин над трупом Бэлы... Подумавши и покачав головой, он гордо поднимает голову и движениями всего языка пытается изобразить громы небесные... Глаза функционируют не как простые гляделки, а как молнии... Он говорит, как начинающие *jeune premier* в мелодрамах, с тою только разницей, что *jeune premier* правильно выражаются по русски, шипучий же г. Сазонов вместо „бухгалтерия“ говорит „бухгактерия“, и частенько забывает о согласовании слов, например: „шайка, цель которого была“... Коньки, на которых он выезжает против обвинения, пряничные...

— Что его долг в сравнении с 12 милл.,—воскликает он, забывая, что долг, взятый из большого кармана, подлежит такой же уплате, как и взятый из маленького.

В конце-концов ссылка на силу Рыкова и трескучий финал с поднятием вверх правого указательного пальца.

Рыкову его речь понравилась...

— Хорошо, очень хорошо!—похвалил он его во время перерыва, встретившись с ним в коридоре.—Даже в газетах напечатать можно...

После Сазонова говорят г. г. Высоцкий и Шубинский. Первый защищает В. Овчинникова, второй—шестерых „печатников“, которых сам Рыков называл седьми детьми... Речи обоих, а в особенности второго, изложению в сокращенном виде не подлежат. Их красоты могут быть поняты только из прочтения подлинников.

\* \* \*

Четырнадцатый день. Говорятся „вторые речи“... Г. Муравьев разбирает речи всех говоривших вчера защитников.

Речь его, несмотря на короткую подготовку, дышит такой же силой, как и первая. Более всех достается конечно, г. Одарченко, который с „искренностью, достойною иного применения“, старался придать своему клиенту, Рыкову, не принадлежащую ему физиономию. Одарченко сравнил Рыкова с богатырем Буслаевичем, г. же Муравьев находит, что Скопинский атаман похож более на Соловья-разбойника, сидящего на семи дубах и подстерегающего путников, чем на Буслаевича. Достается Матвееву, Евтихиеву, Донскому и в особенности Владимиру Овчинникову, который уже не нервничает, как прежде, а бледный и замученный двухнедельным судом, очевидно махнул на все рукой и с терпеливой апатией ждет конца. Говорит г. Муравьев до 2-го часа.

После него просит позволения говорить г. Плевако. Он просит „только 10 минут“, но говорит гораздо дольше... Впрочем, сколько бы г. Плевако ни говорил, его всегда „без скуки слушать можно“... Нового он ничего не сказал. Ископаемые пластичности, вроде: „хранилище“, „скорпион“, „татъ“ пестрят и в сегодняшней речи, рядом с текстами из св. писания.

Вслед за ним, отвечает на речь прокурора и гражданского истца г. Одарченко. Его речь напоминает газетное опровержение... Чуть не плача и нервно жестикулируя, он декламирует перед присяжными, что он и не думает оправдывать Рыкова, как настаивают на этом г. г. Муравьев и Плевако, не разрушает закона, а просит только понять „действительность“. Попытка изобразить Рыкова, как нечто не от мира сего, не удастся вторично. После его второй речи кумир поверженный все еще продолжает казаться не богом...



Защитник И. И. Руднева, бледнолицый Скрипицын тоже считает себя обязанным вложить ленту в сокровищницу сегодняшнего дня... Он, по семинарски повышая и понижая голос, говорит целую проповедь, говорит протяжно, с претензией на смиренномудрие... Он „и не думал говорить, что сами вкладчики были виновниками скопинского краха, как утверждает представитель обвинения“... Его не поняли... Он хотел только сказать, что слез вкладчиков, о которых было много говорено на суде, присяжные не видели, как не видели они здесь на суде ни одной сироты, ни одной вдовы, ни одной бесприданницы, хотя перед присяжными и прошел длинный ряд свидетелей..., но за то они видят здесь другие слезы, видят представителей осиротевших семей... В конце концов г. Скрипицын так увлекается, что, забыв про своего Ивана Ивановича, взывает к оправданию всех, кроме, конечно, Рыкова... „С одного вола двух шкур не дерут!“ восклицает он, разумея под одной шкурой муки, переценные, подсудимым, в длинный период следствия и в эти две недели суда...

После него что-то громко, но невянятно проговаривает г. Швенцеров. Вслед за ним становится на попят г. Курилов.

Г. Курилов говорит прекрасно, но длинно... очень длинно... Публика утомлена *ad maximum*...

Присяжные, повидимому, примирились с мыслью, что весь день пройдет в речах. На их лицах написана покорность судьбе, но если завтра начнутся „третьи речи“, что весьма возможно, то эта покорность обратится в муку. Присяжные почти все люди семейные и служащие. Прошло уже две недели, как они днюют и ночуют в стенах суда... Не повинность это, а подвиг!

Подсудимые имеют замученный вид. Они, заметно, пали духом и глядят меланхоликами. Рыков тоже угрюм и бледен... и не слушает речей... Ведет он себя чинно...

\* \* \*

Наступает очередь подсудимых сказать свое последнее слово...

Рыков, ссылаясь на свое нездоровье, просит отложить его объяснение до другого дня.

Товарищ директора И. И. Руднев, обыкновенно не разговорчивый и угрюмый, на сей раз разговаривается и выказывает даже некоторую сметку.

— Вся вина моя в том, что я только подписывался, а что я подписывал—совсем не понимал... Ежели б написали, чтобы мне голову снять, и то подписал бы...

Другой товарищ директора, он же и кассир, Никифор Иконников, говорит мало:

— Помилосердствуйте, господа присяжные заседатели! Простите!

Это же самое говорят Василий Руднев и Илья Заикин. Слово бухгалтера № 2, Швецова, не так коротко.

— Отчетов я не составлял, говорит он, и стало быть меня можно было бы обвинить только в том, что я не донес о всем, что видел. А как было донести? Ежели бы я донес, то сейчас бы от места отказали и из города бы выгнали.

Его помощник Аляшев говорит следующее:

— Я был служащим, должен был слушаться. Ради семьи пощадите!

Последний козырь—городского головы В. Овчинникова длиннее:

— Я ужасно сожалею и страдаю,—говорит он дрожащим голосом,—что судьба поставила меня во главе городского самоуправления в то самое время, когда дела банка нельзя уже было поправить, а раскрыть злоупотребления у меня не хватило мужества! Здесь на суде меня упрекают в слезливости! И в самом деле смешно—не маленький! Да что же делать! Ведь эту пытку песу я с 1877 года!

И в заключение он, рыдая, просит оправдания.

На следующий, пятнадцатый день, говорит сам Рыков. Он просил позволения выйти на середину залы и стать за пюпитр защитника, чтобы иметь возможность „опереться“.

Председатель соглашается. Рыков, сопровождаемый жандармом, становится за пюпитр и разворачивает перед собой кругом исписанные два—три листа бумаги. Он бледен и взволнован. Слово начинается обращением к суду и публике с клятвой, что он, каюсь в своих преступлениях, будет говорить одну только сущую правду.

Банк создан им с благой целью, говорит он... Земледелие стало подниматься, город Скопин преобразился, торговля увеличилась. Но вся беда в том, что он слишком широко пустил кредит и увлекся.

— Меня ничто не могло сдержать... Рязань была озабочена другим делом: она учитывала векселя в скопинском банке... Министерство только советывало, а не приказывало и проч.

У самого же Рыкова не хватило храбрости закрыть лавочку, в которой, по выражению г. прокурора, „обмеривали и обвешивали“.

— Прекративши дела банка, я должен был бы переступить через труп моего родного города. Если бы для утешения ран моих вкладчиков понадобилось бы мое сож-

жение, то я с восторгом взмошел бы на крест и сам бы зажег его, но наложить руки на собственное детище я не в силах..

Он зовет в свидетели бога, что у него нет ничего, кроме „этого армяка, умирающей жены и нищих детей“.

— В тюрьме я жил частною благотворительностью. Мне подавали милостыню наравне с прочими арестантами!

Сказавши это, Рыков наклоняется к пюпитру и плачет.

— Вы соплете меня в Сибирь,—продолжает он, утирая глаза и заглядывая в исписанные листы.—Я не боюсь Сибири, но ваш приговор разорвет и без того уж разорванное сердце.

Далее следует „холодный труп“, описание болезни и совет присяжным отпустить его... Он простится с умирающей женой, „поплачет на её могиле, в последний раз благословит детей и уединится в монашеской келье, где будет оплакивать свои грехи“...

— Сейчас я говорил, как... как... говорил, как... (заглядывает в исписанные листы)... как подсудимый, теперь же скажу несколько слов в качестве русского гражданина...

„Гражданин“ обвиняет во всем банковый устав, министерство, которое советывало, а не приказывало, и учит, как удовлетворить вкладчиков.

Попугав историей, Рыков идет на свое место.

Суд удаляется для постановки вопросов. Всего вопросов 426, другие же утверждают, что их 475,

\* \* \*

В шестнадцатый и последний день после председательского резюме, которое читается от 9½ час. утра до 1 часа дня, присяжные заседатели получают наконец вопросный лист и удаляются в совещательную комнату.



Но короткость совещания превышает всякие ожидания. В 7 ч. 35 м. вечера слышится вдруг звонок, извещающий, что участь 26-ти человек решена. Нужно видеть, какая бледность покрывает лица защитников, с каким волнением спешат они в залу! Что-то скажут присяжные!..

Подсудимые бледны и взволнованы... Они еле ступают.. Интеллигентный и нервный В. Овчинников своим несчастным видом производит тяжелое впечатление...

Но вот входят присяжные. Г. Боровков подает председателю вопросный лист. Палата, рассмотрев лист, находит, что не соблюдены некоторые формальности. Присяжные опять удаляются, и первое напряжение увеличивается еще более.

В 8 ч. 10 мин. наконец г. Боровков приступает к чтению.

На все 85 вопросов, относящихся к Рыкову, читается один ответ: **да, виновен!** Рыков сначала бледен... Но скоро бледность сменяется краснотой, и на большом лице его выступает пот... Руки его держатся за сердце...

Товарищ директора И. И. Руднев получает **да, виновен** на все относящиеся к нему 55 пунктов. Он бледен и глядит тупо, неподвижно, словно не понимает этого приговора. Об остальных известно из телеграммы.

Г. Боровков читает вердикт до 2-х часов ночи. За вычетом трех перерывов, в полчаса каждый, это чтение, которое слушали стоя, продолжалось **четыре с половиною часа**..

По прочтении вердикта г. Муравьев дает свое заключение в котором требуется: для Рыкова—ссылка в не столь отдаленные места Сибири, для И. Руднева и В. Руднева—Иркутская губ., Матвееву—арестантские роты на 2 года и 8 месяцев, для Евтихьева—Томская губ., для Н. Иконникова—Тобольская губ., для городских голов В. Овчинникова и В. Икон-

никова—Томская губ., для Шамова, Лазарева и слепого Бабанова—Тобольская губ., Донскому и Попову—Олонекская губ., Овдову—рабочий дом, остальным же—арестантские роты...

Г. Одарченко, в виду болезни Рыкова и чистосердечности его показаний, просит палату смягчить наказание на 2 степени... Г. Плевако требует возложить на осужденных за взаимную порукою 9½ миллионов...

15 человек осужденных, бывшие доселе на свободе, по требованию прокурора, берутся под стражу. Их окружают жандармы... Это взятие под стражу людей, бывших доселе на свободе, из которых, быть может, многие надеялись на оправдательный приговор, производит впечатление... Одна часть из них в 3 часа ночи развозится по полицейским домам, другая в 6 часов утра уводится в тюремный замок. Объявление приговора отложено до 12-го декабря.

Процесс закончился благодарностью присяжным заседателям за их более чем двухнедельный, тяжелый, непрерывный труд.

<p>С. ФЕДОРЧЕНКО НАРОД НА ВОЙНЕ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 49 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>ЭРИХ МЮЗАМ ИЗБРАННЫЕ СТИХИ И РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 50 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>В. САВИНКОВ В ТЮРЬМЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПЬЕСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 51 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>С. РЕШЕТОВ В СТАРОМ ПОДПАЗЬЕ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 52 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>
<p>БОРИС САВИНКОВ ПОСЛЕДНИЕ ПОМЕЩНИКИ ПОСМЕРТНЫЕ РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 53 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>АЛЕКСАНДР АРНУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КРЕСЛО</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 54 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>А. КРЕПТЮКОВ МИКИША РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 55 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>МИХ. ПРИШВИН РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 56 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>
<p>В. ВЕРЕСАЕВ РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 57 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>ЭМИЛЬ ЗОЛЯ ПРАЗДНИК В КОВКИЛЕ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 58 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>С. БУДАНЦЕВ ЭСКАДРИЛЬЯ ВСЕМИРНОЙ КОММУНЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 59 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>ЗАЛКА МАТЭ РАССКАЗ О ВЕНГЕРСКОМ СОЛДАТЕ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 60 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>
<p>МИХ. ЗОШЕНКО ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 61 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>В. В. ДЖЕКОБС ВЫСЕЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 62 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>БОРИС ГУСМАН ПОЭТЫ ПЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИК</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 63 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>И. БАБЕЛЬ ЛЮБКА КОЗАК</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 64 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>

<p>С. ФЕДОРЧЕНКО НАРОД НА ВОЙНЕ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 49 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>ЭРИХ МЮЗАМ ИЗБРАННЫЕ СТИХИ И РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 50 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>В. САВИНКОВ В ТЮРЬМЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПЬЕСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 51 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>С. РЕШЕТОВ В СТАРОМ ПОДПАЗЬЕ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 52 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>
<p>БОРИС САВИНКОВ ПОСЛЕДНИЕ ПОМЕЩНИКИ ПОСМЕРТНЫЕ РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 53 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>АЛЕКСАНДР АРНУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КРЕСЛО</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 54 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>А. КРЕПТЮКОВ МИКИША РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 55 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>МИХ. ПРИШВИН РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 56 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>
<p>В. ВЕРЕСАЕВ РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 57 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>ЭМИЛЬ ЗОЛЯ ПРАЗДНИК В КОВКИЛЕ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 58 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>С. БУДАНЦЕВ ЭСКАДРИЛЬЯ ВСЕМИРНОЙ КОММУНЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 59 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>ЗАЛКА МАТЭ РАССКАЗ О ВЕНГЕРСКОМ СОЛДАТЕ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 60 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>
<p>МИХ. ЗОШЕНКО ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 61 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>В. В. ДЖЕКОБС ВЫСЕЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 62 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>БОРИС ГУСМАН ПОЭТЫ ПЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИК</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 63 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>	<p>И. БАБЕЛЬ ЛЮБКА КОЗАК</p>  <p>ФИЛМОТЕКА «ОГОНЬ» № 64 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОГОНЬ» ВОСПОМЯТАЯ • МОСКВА</p>



Цена 15 коп.

## ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ „ОГОНЕК“

Еженедельно ОДНА книжка:

1 мес.—50 к., 3 мес.—1 р. 50 к., 6 мес.—3 р., 1 год—5 р.

Еженедельно ДВЕ книжки:

1 мес.—1 р., 3 мес.—3 р., 6 мес.—5 р., 1 год—10 р.

Москва, Тверской бульвар, д. 26, телеф. 5-51-69.

Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“.